

ОБУГЛЕННЫЙ ВЕКОМ

Михаил Николаевич Сопин родился 12 августа 1931 года. Детство прошло в селе Ломное Курской области. Многие события детства связаны с бабушкой Натальей Степановной.

С 1938 по 1941 г. учился в школе. Начиная с 1941 г. был ввергнут в мясорубку войны, рано потерял родителей. Был сыном полка. Примерно в 1948 году был задержан среди беспризорников «за незаконное ношение оружия» и начал отбывать 17-летний срок, не совершив преступления. Вышел на свободу в 1965-1966 г.

В 1943 г. написал первое стихотворение. Первыми слушателями были товарищи по несчастью, 3-5 человек. В конце 60-х годов на поселение, где находился Сопин, приехала из Перми журналистка Татьяна Продан, познакомились, начали переписку. Михаил и Татьяна поженились в 1970 году. К тому времени «стихи стали членом семьи».

Около 1980 года появилось в печати выступление критика Вадима Кожина, посвященное Алексею Прасолову. На фоне общего критиканства это было свежее слово. Сопин написал ему и получил ответ — Кожин прекрасно отзывался о Сопине. Последовало письмо Кожина в Вологду, в писательскую организацию, а затем переезд Сопина в Вологду в 1982 году. Два года спустя сюда же переехала жена с двумя сыновьями Глебом и Петром. Именно в Вологде состоялась творческая судьба М.Сопина. Его стихи стали широко публиковаться в областной прессе — газетах «Вологодский комсомолец», «Красный Север», также во многих районных газетах.

Первый сборник стихов М.Сопина «Предвестный свет» вышел в 1985 году при содействии Вологодской писательской организации и лично А.Цыганова. В конце 80-х годов еще две новые рукописи лежали в архангельском Северо-Западном издательстве и московском «Современнике». В 1990 г. первый сын Сопиных 19-летний Глеб трагически погиб во время службы в рядах СА, оставив богатое рукописное наследие.

Книги «Смещение» (Архангельск) и «Судьбы моей поле» (Москва) вышли в 1991 г. Критика положительно реагировала на творчество Михаила Сопина — рецензии публиковались в журналах «Урал» и «Москва», в газете «Литературная Россия». 5 ноября 1991 года Михаил Николаевич Сопин был принят в члены Союза писателей России.

Много сил отдал работе с начинающими авторами в рамках литобъединения «Ступени». На его стихи написано немало песен местными вологодскими композиторами, в том числе Владимиром Грозовым, Валерием Поповым. Вологодское ТВ выпустило в эфир несколько телепередач с участием М.Сопина (автор Валерий Есипов), ленинградский режиссер Александр Сидельников снял Сопина в своем фильме «Вологодский романс».

12 августа 1996 года российскому поэту Михаилу Сопину исполнилось 65 лет. Накануне, в конце 1995 года, вышла четвертая книга «Обугленные веком». Этим двум событиям сопутствовало несколько литературных вечеров — в центральной городской библиотеке, в зале-музее Батюшкова. В областной печати — ряд публикаций: статьи Сергея Донца «Благовест сквозь набат», «Яремная вена», отрывок из воспоминаний Сопина. Выступления на вечерах легли в основу статей для журнала «Север». Они также войдут в специальный сборник «Речь о реке» — о жизни и творчестве Михаила Сопина, который выйдет в Вологде в издательстве «Свеча».

Крик и молитва

Расхожим стало мнение о том, что литературная жизнь есть отражение жизни общественной, отсюда и якобы вторичность литературы. Якобы потому что отражать можно все что угодно и при этом выполнять главную социокультурную миссию — осмысливать материальную жизнь и подниматься над ней. Именно так возникает искусство. Именно так рождается и живет слово вологодского и российского поэта Михаила Сопина. Проблема лишь в том, способно ли вслед за этим само общество понять своего художника, сумевшего шагнуть от факта жизни до факта творчества.

Книгу М.Сопина «Смещение», вышедшую в 1991 году в архангельском Северо-Западном издательстве, нужно долго усваивать и обдумывать. Возможно, данные заметки это обламывание хрупких закраин проруби, где лед еще тонкий. Но они могли бы подсказать дорогу другим критикам.

«Смещение» — это взято из нашей жизни, где все понятия смещены, перевернуты, ценности обесценены, идеалов нет, все лучшее обречено на гибель, где страдание стало законом существования — сейчас, как в недавнем прошлом, —

Садистские дознания в подвале,
Где не было мучениям конца,
Где к милости напрасной не зывали,
Под сапогами лопаюсь, сердца...

И в таком случае «Смещение» — это еще мягко сказано. Если у нас ветер, то у Сопина ханавей! Он на своем пути не то что смешает, а сметает!

Стихи Сопина не аккуратные кирпичики лауреата, а острые, угластые глыбы, летящие в бешеную реку бытия. Он торопится успеть осмыслить, что творит с нами время.

Проговаривая такие стихи, автор срывается на крик. Но это не прием, не истерика. Изначальность такого крика — и в горькой судьбе Сопина-человека, и в совестливости Сопина-поэта.

Дурманной тюрей кодекса и КЗОТа
Выкормлен с детства на сто лет вперед:
Согреты сердцем карьеры и дзоты.
Едва скулит душа, уж не орет.
Все так и было. Тягомотно. Тошно.
Таков мой путь к Парнасу. Вот таков:
Цинготный. Голодраный. Беспортошный.
Сквозь золотую россыпь туманов...

За потраву души на корню
Юность пеплом смело в обелисках.
Не люблю, не клян, не браню
Ни чужих, ни знакомых, ни близких.
А за то, что пошадя просил,
Был народным судом колесован
И одышливо падал без сил
У таких же бессильных часовен.

Говоря о себе, он обречен говорить о тысячах изгойных и увечных сыновей, среди которых столько лет находился.

Я о тех, что не встали,
Глядя в небо с мольбой,
И моими устами
Говорит эта боль.

Это целое поколение, поставленное на колени. Детдомовцы, гулаговцы, солдаты — вот они, его северные стаи, которые до сих пор требуют: «...И в дикость масс кричи о мертвых нас». Потому что у них, как и у него, один удел —

...Свобода сквозь решетку на окне,
Улыбка обесцененной любимой —
Вот что досталось в этой жизни мне.

Получается — нет своего и чужого, все воедино. Рушились на всех одинаково шквалы горя, и он обрушивает их же на читателей.

Хлеб мой тяжкий — дорожный мой камень.
Озверелый прищур амбразур.

К отвергнутым закон не шел с повинной.
То бьет нас бойня тыла, то война:
Кто чист — в легенды. Мы — в глухие были.
Все стройки коммунизма — наш дебют.
Нашисты не дожгли и не добились —
Простой расчет: свои своих добьют.

Я ведь тоже прошел
По крутой, не в обход.
И за все — на висках
Замерзающий пот.

Сопинский путь к Парнасу — от пережитого самим — к пережитому всеми, к пережитому страной. Он судьбу страны впитал — и выкричал, и выпел. Потому и язык сопинской поэзии лишен красоты, жесткий до предела. Он, как и прожитые годы, состоит из слов «злоба», «грязь», «палач», «обрубки», «ломали о колено кисти рук»... Да, много вобрал этот язык и черного, и кровавого. Но зато много и такого, по чему Сопина узнаешь за

версту. Неповторимы, ярки как молнии его образы — «трапки», «палки», «глум», «безлюбие», «лихвой», «снеговей», «явь», «индеев» и «ржавь», «листопадит», «снежит», «лагеря, егеря», «вранье, воронье».

Еще одна уникальная черта — обилие назывных предложений. Невероятно много умудряется сказать автор одним только простым и тяжелым как выстрел словом: «грунт и гравий, и тачка, и тачечник», «жирный пепел, красный снег», «преступно, каторжно, невинно», «Поцелуй, похоть, вздох, всходни — к плахе, на крыльцо?», «Слева чаша. Леса. А направо обрыв. А с небес голоса — плачут души в надрыв...», «Вечно. Недавно. Сегодня...», «Пророчаше воронье. Буран народного бессилья...», «Ни памяти, ни древа, ни колодца...», «Орда Мамаю. Зырк Мамаю», «Низкопоклонство. Страх. Усталость», «Поколенья. Души. Судьбы».

Поэтическая речь Сопина до того уплотнена и сконцентрирована, что даже самые абстрактные, отвлеченные понятия становятся резче, выпуклее самой реальности: «история хлопывает в берега», «правда разрывала вены», «душа болит, как отнятые руки», «по-детски ложилась под танки, российской землей становясь», «власть колет черепа», «чтоб властная клика на наших костях пировала», «вмерз иней страха», «от двоедушья, от удущья», «бьет из главных калибров усталость по разгромленной жизни моей», «зека обрубленные руки — шизоидный диагноз масс», «подбило память серой льдиной», «родина... скипелся с ней, как кладка древней стенки».

Есть в стихотворчестве такое понятие — оксюморон. Это формальное противоречие поэтического текста, когда рядом стоят слова, противоположные по значению, и неожиданно усиливают друг друга. Так вот стихи Сопина — это сущий кладок оксюморонов самых разнообразных: «светотьмича», «правда лжи», «слепозряще», «грустная удача», «утратное счастье», «оглушающая тишина», «во имя мерзости святой», «эпоха пряника-кнута», «все мы невольниками воли», «культура хамства», «людно-нелюдимо», «до удущья, до спазм — ненавижу любя», «плача сухо, немом хохоча...», «вопл онемелый»; и самые интересные — двойной оксюморон типа «безумию ума смертельно рад» или — «со всем святым, что прежде было свято, крещусь без рук на церковь и тюрьму...»

У Михаила Сопина ткань стиха наполнена гиперболами, но они направлены не на преувеличение, а на усиление, в частности, это приставки гос- и ком-. Эта приставка как бы клеймо на слове, она подчеркивает и бесмысленность, и окончательность понятия, а иногда это действует как отрицание — «Тепло мне в госодежде».

Спасибо, Господи, ты спас
 Меня от рабелепья масс,
 От гостеррора, зверств людских,
 От государственной тоски,
 От вьюг, что в сердце мне мели —
 Гослжи, госпьянки, госпетли...

В том же режиме — составные слова, слитые в одно, например, «психо-товарищей-господ».

На усиление и обогащение образа работают не только смысловые, но и звуковые характеристики.

В бетонной центрифуге века:
 Страна — казарма, храм — тюрьма.

Прислушайтесь, как рычит и лязгает в этих строчках громадное неповоротливое «р». Так движется жуткий механизм. А вот из стиха «Удары»:

Вглядись в фанерки звезд, в погосты-чаши.
 Легко произнося «тридцать шестой»,
 Мы восхваляем мрак кровотокашней,
 Тот ножевой, жеребий злобой взмах...

В гудении и надсадном зуде шипящих чудится смертельная опасность пилы или косы, из тех, что косят насмерть. Еще один пример:

И опять согреваюсь у белого стылого
 поल्या...
 И поет мне метелица голосом дикого
 голубя...,

 И зеленой звездой снежинка в ладонь мою
 белую
 Опустилась, как елка, в туманном каком-то
 году.

Здесь перестук «г-л-д» создает полную иллюзию власти холода и ледяного морока. Сопин велел:

Работай, медсанбатная строка,
 Избавленная жизнью от излишеств.

И действительно, он работает, как кайло, вбивает в нас правду жизни, как в каменистую почву. Даже к известным, давно надоевшим словам начинаешь относиться по-новому!

Возьмем слово «душа» — не найти, пожалуй, причала поэтов более истоптанного. Оно встречается в книжке почти на каждой странице, но не только глаз не колет, а и найти его будет сложно. Это происходит потому, что в сопинском понятии «души» нет пустого упования, оно не прикрытие пустоты, а есть модификации, бесконечные преломления и оттенки. «Пригвождена к распятию душа», «развалинами душ не исцелишься», «иллюзий нет, душа, помыслим, стой», «души-свечечки горят в Сверхдержавье Черном», «кочуют стан душ», «и листвою по ок-

тябрьской издуке гонит долгую горечь души», «душа кутенком истощенным в пеньковом галстуге сидит».

Михаил Сопин не изобрел новояза. Язык его — это настоящий русский язык, которым он сумел воспользоваться по-человечески, так, что сразу ошарашивает: действительно великий, могучий, свободный.

Крик и плач по своим ушедшим братьям, по своим северным саям. Он то затихает в сопинских строчках, то вырывается наружу с новой силой. Это слишком напоминает кладбищенский причет, в нем тоже скорбь непреходящая и боль неостановимая. Сопин — плакальщик погребели?

Есть еще закономерность: эмоциональный накал стихов-причетов все растет, растет, кажется, еще немного — и будет не вынести. Вот тут-то и делается шаг от факта жизни к факту искусства. Высота чувств, доходя до какой-то болевой грани, переключается на иной уровень. Туда, где за ослеплением приходит прозрение, за смятением — ясная мысль.

Горе выбивает человека из колен, и он становится бессмысленным рабом этого горя. На похоронах любимого человека девушка кричит до осатанения, становится на глазах безобразной. Но ей мудро подсказывают простые слова молитвы — «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...» И она, повторяя их, выпрямляется, приходит в себя, лицо яснее. Душевная организация сопинского героя аналогична. Его плач как раз и содержит такую святую молитву, не позволяющую ему стать рабом горя. Иногда такой поворотный момент виден на странице.

Сорок второй. Нас жгут со скабром всем.
Горят косички, ленточки матросок.
И по живым свинцовый хлещет посох
Страшней приказа двести двадцать семь...
И тут я понял — если не осилю...

Иногда весь мучительный предшествующий путь скрыт за горизонтом, и мы видим перед собой только последние, проясненные фразы. Поэт получает ядро стиха почти хирургическим путем, выделяя из одиннадцати строф всего три, но какие! Те самые, уже озаренные.

Иду среди скопищ и сборищ
Глупцов и пророков.
Иду издалека —
Бог знает в какое далеко.
И темную ношу несущая,
И светлую ношу.
И друга в печали,
И недруга в скорби не брошу.
Под таинством неба иду я
По таинству поля.
Людская неволя во мне
И господняя воля.

Тут все чисто от подходов и предысторий, тут высота и усталость мученика, терпение философа. Недаром некоторые мотивы Сопина очень библейские или переключаются, например, с мотивами Заратустры. Тот несет людям свою идею о сверхчеловеке, и герой Сопина хрипит свое «ку-ка-реку» грядущему веку. И тот, и другой непонятны и отвергнуты. Только пророк Заратустра, презирая «последнего человека», покидает мир ради пещеры отшельника, а сопинский пророк рубит тайгу и надывается со всей страной вместе и в то же время горько смеется над собой за то, что он «олигофрен идеи» и не может порвать со всем этим. Снова — причастность, прикованность, судьба.

Если в книге «Смещение» взгляд поэта постоянно смещен в прошлое, в лагерно-военную эпоху, то в публикациях последнего времени этот взгляд все чаще останавливается на сегодняшнем дне, в тоскливом социуме которого ничего не меняется по сравнению с недавним кошмаром.

Все нет к родному куреню
Дороги мирной, без погоста.
Зато родному воронью
Живется радостно и просто.
В державе старцев и детей,
В стране обьевших и нищих
И я — Господь меня не спас —
Прошел дождем на пепелище.

.....
Россия, что такое ты?
Откуда дикость человечья?
Свистят незримые кнуты,
Переувеченных увеча.

«Россия — вечный фронт без тыла», «всегда ты была замордованным краем» — это все о ней, которую он «ненавидит люба». И даже в глубоко личных, посвященных Шаламову, Сидельникову шквалью идет в нем этот глубинный поток осмысления «любви-ненависти». Разгадка проклятых вопросов по Сопину — в их противоположности.

Это снова мотив оксюморона, только разветвленный и более глубокий. Своего рода философия, порожденная смещением сознания... Победа военная, внешняя есть поражение внутреннее, потому что самообман, кажущаяся правота и сила, а на самом деле — пропасть безмыслия, духовное рабство.

Наше детство в кровавой пыли.
Под бомбежкой обиды и беды.
Наша юность замерзла вдали,
В долгих сумерках после Победы.

Долгие сумерки — вот чем оборачивается Победа. Лексика Сопина, обычно резкая, взрывная, становится все более молитвенной, раздумчивой. Одна ли уста-

лость тому причиной? «Лишь о пощаде не звени, не надо, шадящих в этой жизни не шадят».

Перед свечами тремя, пред свечами
Мысль идет к одному рубежу...
И гляжу я вокруг без печали,
Без обиды и боли гляжу.

По окопам пройдя, по конвойным
скалистым аллеям,
Ощутив на себе обух битвы и мирную
плеть,
Если ты не смогла, мы, живые, тебя
пожалеем.
Отрывав от обид, должен кто-то тебя
пожалеть...

Что нам осталось? Быть добрей,
До полосы, до той, до самой...

Четвертая поэтическая книга М. Сопина «Обугленные веком» неотрывна от предыдущих — «Предвестный свет», «Судьбы моей поле», «Смещение». Это продолжение

крика-молитвы, в котором все меньше крика, все больше молитвы. Потому что все смещено на поле его судьбы, где предвестный свет исходит именно от обугленных...

Должный проклясть изнемогает от жалости и любви. В этой книге много посвящений — это смещение души в те высшие сферы, где иное видение сущего. Исход жалости, человеческого тепла из души, промерзшей на столетья, — видимо, это и есть нравственный вывод Сопина-человека и Сопина-поэта. Он не тешит себя иллюзиями, предчувствует время, когда наоборотная, мучительная жизнь отойдет в прошлое, он прозорлив до сердечного вздрога. И, понимая это, твердо выводит:

Спертый ветер эпохи, дорожных страниц
не листай,
Не найдешь там ни слова о скопище строек
великих.
Мы уходим, последние певчие северных
стай,
Гениальные — в серость роняя —
предсмертные крики.

Валерий АРХИПОВ

Сны и реальность поэта

Он пришел к нам с философскими размышлениями о нас же самих, о том, что с нами случилось за эти такие короткие и такие долгие перестроечные «великие» дни. Именно с размышлениями, картинками-воспоминаниями, целым документальным фильмом-приговором — как автор текста, режиссер, оператор, художник этого фильма, он сам, русский поэт Сопин. Вот он идет в новенькой арестантской робе среди звезд Каннского кинофестиваля, и лошади шарахаются, а женщины бросают цветы. Он идет по этим цветам: красное, белое, голубое. Он идет по нашим сердцам, не забывая показать кусок серого неба. В небе этом летят журавли, летят быстро, и вот один отстает, отстает, наконец остается один и садится на остов погибшего русского дерева и плачет. Это Поэт, и плачет он не о себе, а о том, что оставил в себе, не успев еще высказать, выговорить, рассказать. Он имеет право на то, чтобы передохнуть, осмотреться, произнести:

Впервые мне легко.
В дожде дома кривые.
Бельмастые огни,
Деревьев нагота.
Я жгу в костре души
Без жалости впервые
Хлам обветшалых дней,
Спрессованных в лета.

Он останется с нами, только вот наберет сил, поправит свое подраненное крыло, подарит нам свои поэтические признания, в них не сразу, не вдруг, не сейчас, но все-таки будут: красное, белое, голубое.

Наверно, еще с того момента, как ступил на вологодский перрон, он заслужил право кричать о своих болях, потому что эти боли, переданные через художественные образы, стали уже общечеловеческими, как общечеловеческими для нас стали полуглашенные вопли Шаламова. И несмотря на приклатившую откуда-то с запасного пути известность, усталый и нездоровый, сидит поэт на грубоватом сколоченном табурете посреди полупустой комнаты, сидит и поет жестко, жестоко и горько:

Скука, скука, скука.
В ад податься? Ко святым?
Мысль, как пойманная сука
Живодером подпITYм,
Смотрит в тусклость
Тусклым светом,
В безразличье, мутью в муть,
Понимая без совета:
Вой, молчи —
Окончен путь.

Вдруг приходит такое сознание тотального нелюбопытства, гнетущего равнодушия и греха народа-мученика, народа-пала-

ча — порою нестерпимо, что приходится говорить такое:

Войной увеченный и битый,
Живу, недавнешний изгой,
Среди других уже событий.
В другой стране
И сам другой.
Средь мирных дел,
Жильцов и комнат,
Где — тихо, сердце,
Не скули! —
Нас не забыли
И не помнят.
Нас просто смазали с земли.

Но уже выговорившись, выкричавшись, поэт находит в себе силы и, войдя в очередную реальность, возвышается над землей, над этим шариком — вселенским укором, со звездой-темишей на левой груди...

Вместе с тем очевидны однообразность его художественных приемов, стереотипность излюбленных автором слов и выражений. Кроваво-черно-серое полотно — огромный поэтический экран, еще немного — и побегут по нему гуси с отрезанными головами, а над громадно-аллегорическими строчками-фресками взметнется вдруг невинное тело повесившейся девочки-зечки. И автор ведь понимает: добавь он в это мрачно-серое варево хотя бы горстку зеленой да голубой краски, получилась бы благодатная картина, но что поделаешь... Надо наводить мосты между прошлым и будущим, между снами поэта Михаила Николаевича и реальностью бывшего заключенного с короткой фамилией Сонин.

Закрою глаза — не буди,
Не сплю я на облаке легком,
Забылся до боли в груди
О прошлом,
Далеком-далеком.
Не сплю я.
Склонясь ко плечу
Душой в изувеченном теле,
Покою согреться хочу
От жизненной долгой метели.
Чуть-чуть полежу без огня,
Без стыло-постылого света.
Ты молча пропой для меня
Что хочешь,
Что не было спето.

И все же чувствуете — просыпается, пробивается росток нежности, тепла. Ну черт возьми, если скинуть с себя грязно-кровавую, семь десятков лет не стирающую рубашку, а если мало, то и верхний слой кожи, обугленный веком, отдышаться, обратиться к друзьям, пристолниться щекой к плечу любимой женщины, а уж потом всколыхнуться на сияние Храма Божия, обречь себя на вечные скитания в огромном мире с приторным названием «Поэзия».

Так кто же мы, жертвы или палачи собственного «я», если, не дождавшись грядущего, рухнули в мутные воды ненависти и страха. Вдоволь настрадавшись, нахлебавшись тины и болотины лжи, вырывается поэт, чтобы свести счеты с прошлым. Ибо, не найдя успокоения в определении степени нашей вины и вины государства, невозможно плавно перейти на коврик любовных грез, не обрета хотя бы иллюзии победительности, невозможно говорить с легким сердцем о всепрощении. Тем более что нет-нет да и подстерегают нас знаки госправды, госпроверки, госавтоинспекции, прочих «госов», открывших мир желанно-сладкого слова «свобода», а потом, будто испугавшись сквознячка, просят поубавить, притушить «не в меру расходившиеся страсти» художника.

Поздно. Кто же теперь может замолчать голос, произнесший во всеуслышание:

Я знал тебя, Россия,
Всякой, разной,
Полубезумной —
В пятилетках казней,
Под картина, ублюдочного хана
Ложашеюся мстительно и пьяно,
Этапной, атакующей в бою!
И, задыхаясь, говорю упрямо:
Все вижу, светлая,
Все помню, мама,
Кладя ладонь на голову твою.
Духовной грани нету у России.
Народ бандитствует,
Когда закон в бессилье.
Ослаб народ —
Поидет наоборот.

Поэт дрался, дерется, будет драться со своим поколением, поколением Победителей, в одночасье превратившимся в поколение Побежденных. Но ведь видно, что поэт, обретший крылья, взлетел ангелом над грешной страной, поставившей к стенке целый народ. Он этот народ жалеет и любит, да и как не жалеть, если он сам частичка его, если воспевал заветные стежки-дорожки, протоптанные каменным мужиком сапогом.

Пришло время, уже можно сделать передышку, присмотреться «к власти и судьбе», поговорить о счастье и о Боге и в который уж раз спросить себя и других, что есть поэзия:

Свет мысли, сердца чистый лучик,
Среди сомнамбул наяву,
Среди ханжей и самоучек
Тобой, Поэзия, живу.

Вот это удел пинтов: быть себе и палачом, и жертвой, и пророком с излюбленными приемами всеобщего поученья — это выходит порой боком, приносит носителю изрекаемой истины неисчислимые страдания. Всегда есть надежда прогреметь громом среди ясного дня, а когда сил уже нет, обратиться к родному

пейзажу, деревушкам и речкам, обратиться к чистой-пречистой Поэзии, которая не терпит тыканья пальцем, которая ведет Поэта к вечному, оберегая от суетного, болезненного.

И отправляется Поэт в путь, зная, что никакой жизни не хватит достичь подножия Истины. И тогда он довольствуется белым-пребелым девическим платьем, репродукцией Моны Лизы, впечатанным в грязь следом кирзового сапога, краюхою черного хлеба на белом, как женская грудь, деревенском руш-

нике. Не кровь будет хлестать из разбитого рта, а песня:

Луна луговая,
В просторе подлунном могила.
Заброшенный холмик —
Как пайка в платочке-узле.
Чья стежка здесь кончилась?
Чья здесь надежда погибла
На милой и проклятой
Нашей российской земле?

Сергей ФАУСТОВ

Речь на презентации новой книги Михаила Сопина

Я поздравляю Татьяну Петровну Сопину. У меня не много знакомых, я сейчас даже не могу сразу вспомнить кого-то, кому посвящали бы не одно какое-то стихотворение, а целую книгу.

Я недавно заходил к Сопиным домой и увидел, что Татьяна Петровна ходит в красивом кимоно — синее с японскими узорами. Я этому ничуть не удивился — давно знал, что Михаил Сопин — японский поэт.

Я мечтаю его стихи читать на японском языке — иероглифами. Иероглифы напоминают разорванную колючую проволоку империи гостеррора и гослжи. Стихи Сопина разрывают колючую проволоку несвободы, поэтому они должны быть написаны иероглифами! Я это утверждаю с восклицательным знаком.

В Японии есть писатели, ровесники Сопина, как и он, пережившие драму взаимоотношений с войной и империей. У обеих национальных литератур в этом смысле много общего.

Читая Сопина, ловишь себя на мысли, что читаешь японскую поэзию хокку или танка — трех- или пятистишия.

Птица во поле
Жалобно свистнет,

Чернобыл ли дрожит
На снегу —
Как собака,
Избитая жизнью,
К вам,
Избитым судьбой,
Я бегу.

А вот из XVII века японской литературы, поэт Басё.

Поник головой до земли —
Словно весь мир опрокинут вверх дном —
Придавленный снегом бамбук.

Сегодня мы столкнулись с литературой, и русской, и японской, но в данном случае они находят очень тесные соприкосновения. В них дух камикадзе, вынужденных кричать и вынужденных молчать. И в молчании создавать икебану, чтобы не совершить харакiri.

Сопин у меня дома на книжной полке стоит рядом с Кобо Абе, Акутагавой Рюноске, Кэндзабурэ Оэ и другими. И эта полка заряжает меня энергией.

Перефразируя английскую поговорку, я закончу: «Тот не знает Сопина, кто знает Сопина только как русского поэта».

Вера БЕЛАВИНА

Признание автору книги «Обугленный веком» Михаилу Сопину

Книга открылась на середине: «Когда в груди свернется маета, молчу — не лгу и не молчу — не лгу...». Сначала онемела от потрясения, затем навернулись слезы, потом снова и снова перечитывала стихотворение про себя и вслух, пытаюсь понять,

как вы смогли простыми словами так мощно выразить трагизм человека, одинокого на Земле, с помощью каких поэтических средств проникли в мое невысказанное, тайное, да еще соединили свое и мое в единое целое. А когда прочитала все, впервые в

жизни захотелось благоговейно поцеловать вашу руку. За что?

За память о моей матери, вышедшей в сорок первом из окружения в плотное кольцо «своих» (стих «Окруженцы»). За то, что вы вобратили в себя мои горестные раздумья о прошлом и будущем, за их осмысление, за скорбь о моем потерянном народе, за жесткие слова правды, честь, ум, достоинство, за то, что вы один вместили в свои стихи всех, у кого есть совесть.

«Обугленные веком» — эта книга уже много дней со мной. Кончаю день стихами из нее и, просыпаясь, ищу глазами запомнившиеся строчки. И разговариваю, разговариваю с вами, как вы со мной. И больно раните меня своей откровенностью, и хлещете мою еще не задубевшую совесть, упрекая меня в тяжелейших грехах, прощаете мне слабости, любите меня, забываете меня. И все вы один.

Бывают стихи — остро отточенная мысль и никакой поэзии, бывают стихи ради стихов, поэзия в чистом виде, а у вас удивительный сплав точной мысли и яркого поэтического образа. Продиктовано жизнью и отточено талантом.

По точности осмысления истории до сих пор ценила только одного автора — Александра Солженицына. Но ваше стихотворение «Эпоха и судьба» одно заменяет весь «Архипелаг ГУЛАГ».

По поэтичности и пронзительности не знала равных Булату Окуджаве, но теперь вашему стихотворению «Пехота» нет равных: «За сто шагов до поворота, где Ворскла делает дугу, далекой осенью пехота с землей смешалась на бегу...» Удивительной силы образ: спокойный русский пейзаж с тихой пахотной землей, но только... с мертвыми телами в ней. Я вижу, вижу этот остановленный свинцом бег... И тишину полей после...

Это о прошлом, вот о настоящем: «Шел я мыслью по векам, маялся от сходства...» Это тоже мое понимание государственности, мое отчаяние за страшную, исковерканную историю родины, которая калечила своих и искалечит моих детей...

Стих «Черная лампада» — о нити, связующей настоящее, прошлое, будущее: «За что? Теперь руками машем над временем,

над мглой имен, боясь сказать, что в мире нашем иных и не было времен».

«В траурном зеркале» наша горькая, узнанаемая, непринимая сердцем, но настоящая современность.

И вот я узнаю вас в себе, а себя в вас, и вот уже ревную вас к неизвестной мне Л.В. и хочу, «хочу найти друг в друге былых себя из этих двух, какие нынче есть».

А строки о дорогой для вас женщине я предчувствовала, ждала и перечла с благодарностью за мужскую преданность: «Живи, тепло души храни и знай, что, уходя в дорогу, я пережил святые дни благодаря тебе и Богу». И ей же: «О разлуке не надо, родимая, помни о встрече». Захотелось узнать о вас больше, понять, как мог сложиться такой человек.

Обратилась к вашей предыдущей книжке «Смещение». Узнала из двух книг многое, а главное — основные факты биографии: начало войны встретили ребенком, а дальше дороги известного архипелага.

Но книги разные. В «Смещении» вы оголенный провод на болевом пороге, а в «Обугленных» вы человек иного качества, человек-мысль. Здесь вы — квинтэссенция нечеловеческого страдания и одновременно — квинтэссенция человеческого понимания, прощения. Непозбежность, отреченность, тягелая усталость, но в процессе — осмысленные жизни, ее итогов. Стихи — сгусток мысли, однако это и не просто рифмованная философия, это удивительное умение — от Бога — переплавлять мысль в слово. И только жаль бывает, что многие ваши стихи без даты написания, тогда разговор был бы предметнее, интимнее.

Не согласна с тем, что все ваши стихи носят сдержанный и суровый характер (об этом сказано в аннотации на обложке). Наоборот, каждое из них — распахнутое чувство. И хотя их объединяет общая тема, в каждом — свой оттенок. Слова, обозначающие Россию, занимают свое сокровенное место, где нет места штампам и прочим атрибутам лжепатриотизма.

Теперь я жду от вас нового качества, значит, новых стихов. Может, там прозвучит новый мотив — вся жизнь человека, смерть и рождение, предательство и верность, жар любви и холод старости — это сущее.